

А ВТОР этой публикации, представляющей фрагменты из книги «Посредние страны земного», Вадим Васильевич Бронгулеев — профессор, доктор геолого-минералогических наук, за его плечами пять больших монографий и множество научных статей. Вадим Васильевич — человек разносторонне образованный, обладающий множеством талантов. В молодости он много занимался музыкой — играл на фортепиано и скрипке. Прекрасно рисует и всю жизнь пишет стихи. Более 60 лет он по крупицам собирает все, что касается жизни и смерти Николая Гумилева, поэта, близкого ему по душе. В разные годы встречался с современниками Гумилева, лично его знавшими, — А. Ахматовой, В. Ржевским, Е. Анненковой, И. Одоевцевой и другими.

Сейчас, когда стало возможно, В. В. Бронгулеев сделал попытку написать историю жизни Гумилева, обратив особое внимание на ее середину. Отсюда и название готовящейся книги. Ее канвой послужили письма Гумилева к В. Брюсову. В ней много стихотворений, страниц из дневников, устные рассказы современников поэта. Она должна содержать более 150 иллюстраций. Здесь публикуются отрывки из седьмой главы, в которой речь идет о периоде жизни Гумилева после его возвращения из второго путешествия в Абиссинию, продолжавшегося почти полгода. Незадолго до этого состоялся брак Гумилева с Анной Ахматовой, и столь длительная разлука супругов кажется странной. Автор высказывает предположение, что причиной отъезда поэта мог стать надрыв в его семье, обнаружившийся уже вскоре после их союза.

Анна КОЛОНИЦКАЯ.

В Царское Село Гумилев прибыл 25.III (7.IV) 1911 года. Еще в дороге он почувствовал себя больным и понял, что это приступ болотной лихорадки, как тогда часто называли малярию. С трудом добравшись до дома, он слег со всеми признаками этой болезни.

Мы не знаем, как он был встречен своими родными и особенно, конечно, женой. О матери говорить не приходится. Она была счастлива увидеть наконец своего блудного сына. Но что дала проверка временем, на которую обрекли себя супруги?

Поскольку окончательный разрыв в те дни не произошел, можно думать, что было решено продолжать совместную жизнь. Может быть даже, долгая разлука оказалась полезной и в какой-то мере вновь повернула их друг к другу.

Вся весна 1911 года была посвящена литературной работе. Николай Степанович еще посещал лекции на «Башне» и в университете. Часто бывал в музеях, интересуясь преимущественно древними культурами, и на этой почве начал сближаться с В. К. Шильгей. Однако занятия в университете стали его тяготить, и в первых числах мая он подал прошение об увольнении, которое вскоре и было удовлетворено.

Примерно в те же дни мать Николая Степановича купила дом в Царском Селе на Малой улице, и семья переехала в дом в свои собственные владения. Как вспоминала позднее невестка поэта, Анна Андреевна Гумилева, это был

«... прелестный двухэтажный дом и тут же небольшой тоже двухэтажный флигель с садиком и хорошеньким двориком. Анна Ивановна (мать Гумилева. — В. Б.) с падчерицей и внуками занимала верхний этаж, пост с женой и я с мужем — внизу. Тут же внизу находилась столовая, гостиная и библиотека. После своего второго путешествия в Африку Коля внес в дом много экзотики, которая ему всегда нравилась. Свои комнаты он отделил по своему вкусу и очень оригинально.

Вспоминается мне наша чудная библиотека, между гостиной и Коллиной комнатой. В библиотеке вдоль стен были устроены полки, снизу доверху наполненные книгами. В библиотеке во время чтения было принято говорить шепотом. Для поэта библиотека была «святой святых», и он не раз повторял, что надо держать себя в ней, как в настоящей библиотеке. Последние находилась большой круглый стол, за которым читавшие чинно сидели».

В начале мая в отношениях между супругами, вероятно, вновь что-то произошло. Неожиданно Анна Андреевна решила поехать в Париж, воспользовавшись приглашением А. И. Чуковского. Тяготясь одиночеством, Николай Степанович, в свою очередь, отправился в имение Слепнево. Еще раньше он ездил туда зимой, чтобы познакомиться со старинной библиотекой своих родственников по матери. И не ожидая встретить там двух своих кумовей, с которыми очень весело провел несколько дней. Вот что рассказало об этой встрече все та же А. А. Гумилева.

«Под влиянием рассказов Анны Ивановны о родовом имении Слепнево, той большой старинной библиотеке, которая в целостности сохранилась, Коля захотел поехать туда, чтобы ознакомиться с книгами. В то время в Слепнево жила тетюшка Варя — Варвара Ивановна Львова <...>. К ней зимой время от времени приезжала ее дочь <...> Кузьмина-Караваева со своими двумя дочерьми. Приехав в имение Слепнево, поэт был приятно поражен, когда кроме старенькой тетюшки Вари навстречу ему вышли две очаровательные молодые барышни — Маша и Оля. Маша с первого взгляда произвела на поэта неизгладимое впечатление.

В железе заковали ей, И та, которую люблю я, Не будет никогда моей.

О лете 1911 года рассказана в своих воспоминаниях и В. А. Неведомская, которая познакомилась с семьей Гумилевых еще раньше.

«Вернувшись из-за границы в наше имение Полобино — в Бежецком уезде Тверской губернии, — и узнала, что у нас появились новые соседи. Мать Н. С. Гумилева получила в наследство небольшое имение Слепнево, в 6 верстах от нашей усадьбы. Слепнево собственно не было барским имением, это была скорее дача, выделенная из Борисово, имения Кузьминых-Караваевых».

«Я как сейчас помню, — продолжала Неведомская, — мое первое впечатление от встречи с Гумилевым и Ахматовой в их Слепнево. На веранду, где мы пили чай, Гумилев вошел из сада; на голове — феска лимонного цвета, на ногах — лиловые носки и сандалии, а к этому русская рубашка. Впоследствии я поняла, что Гумилев вообще любил гротеск и в жизни, и в костюме. У него было очень необычное лицо: не то Ви-Ба-Во, не то Пьеро, не то Монгол <...>. Умные, пристель-

ские прокляты. Представления шли с большим успехом, и единственно, кто не принимал в них участия, была Ахматова. Она, по словам Неведомской, «всегда была замкнутой и всюду чужой. В Слепнево, в семье мужа, ей было душно, скучно и неприятно. Но и в Подобино, среди нас, она присутствовала только внешне».

«Только 15 июля 1911 года, в день именин Владимира Дмитриевича Кузьмина-Караваева <...>, Гумилев представил свою молодую жену родным и друзьям. Тогда же в Борисово приехали <...> и две дочери А. Д. Кузьмина-Караваева — Мария и Ольга, приходившиеся по матери двоюродными племянницами Гумилеву <...>. Обе сестры — прелестные, светловолосые — как бы дополняли друг друга. Приехали в Борисово и соседи Неведомские <...>. Вместе с тонкой горбоносой, немною таинственной замкнутой Анной Андреевной — какой женский цветик

меня: «Вам, наверно, здесь очень холодно после Египта? Дело в том, что он слышал, как тамоянная молодежь за скачонку мою худобу и, как им тогда казалось, таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, — которая всем приносит несчастье».

О своей комнате в слепневском доме она написала так: «В моей комнате (на север) висела баяльская икона — Христос в темнице. Узкий диван был таким твердым, что я просыпалась ночью и долго сидела, чтобы отдохнуть. Над диваном висел небольшой портрет Николая I не как у сновов в Петербурге — почти как экзотика, а просто, серьезно по-оиегнски («Царей портреты на стене»). Были ли в комнате зеркало, не знаю, забыла. В шкафу остатки старой библиотеки — даже «Северные цветы», и барон Бромбеус, и Руссо». Во всех этих словах действительно чувствуется какая-то отчужденность, которая даже, неспособностью к окружающему быту, которая могла вызывать наряду с известным сочувствием, пожалуй, и что-то похожее на раздражение. И кажется, что начинаешь понимать Николая Степановича, читая его, возможно, как раз в эти дни написанную исповедь, где

Иль без тебя да проживешь? И не расстанься с амулетами. Фортуна катит колесо. На полке, рядом с пистолетами Барон Бромбеус и Руссо. А теперь о поездках Николая Степановича «в невысланном направлении» и о «посредственных стихах» в альбомах Кузьминых-Караваевых. Вероятно, поэт действительно скучал, но отнюдь не от Слепнева, а от обстановки дома, лишенной теплоты и понимания. И почти нет сомнений в том, что это «направление» вело его в имение неожиданно обретенных кумовей. Автору кажется, что А. А. Гумилева была права в своей оценке чувств поэта к Маше. На свое несчастье, он понял, что в этой девушке мог бы найти чуткую и столь нужную ему, еще не тронутую жизнью душу. Такой вывод со всей очевидностью явствует из тех самых «посредственных» стихов, которые он ей писал. В них, нередко даже через шуточные строки, проступает его удивительно чистое, почти благоговейное чувство, при котором становится уже безразличным вопрос о совершенстве или несовершенстве самих стихов. И тем не менее многие из этих стихов далеко не посредственные, и Ахматова, как никто другой, не могла этого не понимать.

Вечерний медленный паук В траве сплетает паутину, — То — «espoir»*. Но милый друг, И взора на него не мишу. Всею обольстительностью надежд, Не жизнь, а только сон о жизни Я оставлю для невежд, Для сонных евнухов и слизней. Мое «сегодня» на мечту Не променяю я и знаю, Что муки ада предпochту Лишь обещаемому раю. Чтob в час, когда могилный мрак Волбется в сомкнутые вежды, Не засмеялся мне червяк, Паучьи высосав надежды. В числе последних стихотворений из Машиного альбома имеется еще одно без названия, в котором сделана попытка взглянуть на себя и на мир более широко и спокойно. Но надрыв не исчез. Огромный мир открыт и манит, Бьет конь копытом, я готов, Я знаю, сердце не устанет Следить за бегом облаков. Но вслед бежит воспоминанье И странно выстраданный стих, И непонятое признание Последних радостей моих. Рывок коня, но помни, что печали От века гнать не уставали

всю его трагичность. Думал ли тогда Гумилев, что этот его односторонний роман приблизится к концу? Может быть, и думал, но, конечно, старался не показывать и виду, что положение столь серьезно. Наверное, он уверял Машу, что средиземноморский воздух сделает чудо и что она очень скоро приедет в Россию совсем, совсем здоровой.

Вернувшись домой, поэт целиком погрузился в петербургскую литературную жизнь. Конец 1911 года характеризовался весьма активной деятельностью Цеха. Помня своих собственных заседаний, его участники посещали и Академию стиха, где читались и обсуждались произведения русских и французских писателей. Гумилев в ту пору особенно увлекся творчеством Теофиля Готье, которого усиленно изучал и переводил.

В середине ноября Гумилев послал Брюсову третье за последнее время письмо, прося опубликовать несколько своих новых стихотворений.

«Дорогой Валерий Яковлевич, посылаю Вам три мои последние стихотворения. Может быть, что-нибудь пригодится для «Русской мысли». Но, к сожалению, я должен Вас предупредить, что в феврале выйдет книга моих стихов, так что эти стихи самое позднее могут войти в февральскую книжку <...>. Мне очень жаль, что с Вашими стихами, присланными в «Аполлон», вышло такое недоразумение. Когда они пришли, альманах был уже наполовину отпечатан, так что включить их не представлялось никакой возможности <...>».

О Вашей книге «Далекое и близкое» я буду писать в ближайшем номере. Удивительно, такой целевой вышла она, составленная из отдельных рецензий. Искренне уважающий Вас Н. Гумилев».

Читая это письмо, ощущаешь, как за истекшее время, со всеми его радостями и огорчениями, вырос поэт. Письмо написано очень спокойно, с достоинством, немного отчужденно и без каких-либо эмоций. Нет ни чрезмерных восторгов, ни подчеркнутого негодования, как это бывало раньше.

Вероятно, еще в ноябре Машу привезли в Россию, чтобы тут же направить в Италию. Были проводы, но подробностей у автора нет. Может быть, были сказаны какие-то нужные поэту слова? Может быть, было получено обещание писать? Может быть, наконец, он сам поверил во все то, что хотел внушить Маше, — в целительное могущество юга, а следовательно, и в какое-то будущее? Ответ на эти вопросы, увы, нет.

Но вот наступило Рождество. В самый сочельник Гумилев почувствовал прилив бодрости. В Машин альбом, вероятно, оставшийся в России и ему доступный, он вписал еще одно стихотворение, полное оптимизма.

Хиромант, большой бездельник, Поздно вечером, в Сочельник Мне предсказывал: — «Замет! Будут долгие недели. Вить белые метели. Лыды прозрачные синеть. Но ты снегу улыбеешься, Ты на лыжах поскользнешься, Принесут тебе письмо С надушенною подкладкой И на нем сияет сладкий. Милый штемпель — Сен-Ремо!»

Надежда и связанное с нею приподнятое настроение не покидали поэта до конца года. Возможно, повинуясь этим чувствам, 31 декабря он вместе с Ахматовой отправился встречать новый 1912 год в только что открывшийся подвальчик «Бродячая собака». Возможно даже, что его отношения с женой в какой-то мере опять наладились. Психологически это не кажется странным...

Но очень скоро выяснилось, что предсказания хироманта-бездельника оказались ложными. Вместо ожидавшегося надушенного письма из Сен-Ремо поступило сообщение о том, что Маша близка к смерти. В самом начале 1912 года, как сообщил С. Маковский, двадцати двух лет от роду Мария Александровна Кузьмина-Караваева скончалась. Ее тело было перевезено на родину и похоронено на монастырском кладбище города Бежецка.

ПОСРЕДИНЕ СТРАНСТВИЯ ЗЕМНОГО

Вадим БРОНГУЛЕЕВ



ные глаза слегка косят. При этом под черноту-черемонные манеры, а глаза и рот усмекаются. У Ахматовой строгое лицо послушницы из старовчерского скита. Все черты слишком остренькие, чтобы называть лицо красивым. Серые глаза без улыбки... За столом она молчала, и сразу чувствовалось, что в семье мужа она чужая».

прямо говорилось о разочаровании, медленнее разрасталась в его душе. Из логова амьева. Я взял не жену, а козудью. А думал — забавницу, Гадал — своеобразницу, Веселую птицу-певунью.

Да, конечно, женщина, о которой он мечтал столько лет, оказалась совсем не забавницей и не птицей-певуней. Она была иным человеком, сущностью которого стала делаться понятной поэту только сейчас. И разве мы не находим подтверждения этому в стихах самой Ахматовой, особенно в тех, где она писала о Слепневе? В последних не было и следов теплоты к дням юности автора. Вместе с тем картины нарисованы мастерски.

Вот одна из них. Но все мне памятна до боли Тверская скудная земля. Жерваль у ветхого колодца, Над ним, как кипень, облака. И запах хлеба, и тоска. И те незрячие ветросты, Где даже голос ветра слаб, И осуждающие взоры Спокойных, загорелых баб.

И еще одна строфа, хорошо подтверждающая правоту впечатлений Маковского об отношениях супругов в описываемое лето их совместной жизни. Жгу до зари на окошке свечу И ни о ком не тоскую. Но не хочу, не хочу, не хочу, Знать, как целуют друг друга.

В таком слепом, чистом женском протесте отсутствовал и намек на желание что-то понять, чем-то поступиться, что-то простить. Обреченность подобного протеста кажется очевидной.

«Воспоминания Ахматовой есть несколько слов, касающихся и Николая Степановича, точнее, его отношения к Слепневу. Согласится с ними, конечно, нельзя».

«Николай Степанович, — писала она, — не выносил Слепнева. Зевал, скучал и уезжал в невысланном направлении. Писал: «Такая скучная не золотая старина» и наполнял альбомы Кузьминых-Караваевых посредственными стихами». В этих словах много несправедливого. Да, поэт писал о скучной, томной и не золотой старине. Но, в отличие от своей жены, он был бесконечно близок к этой старине, великолепно ее чувствовал и, конечно, любил. Стремясь к чужим небесам, с душой, наполненной видениями иноземных панорам, он отлично знал, что всеми своими корнями накрепко привязан к таким, как его Слепнево, русским дворянским гнездам, к их быту, их духу, их высокой культуре. Они были родными с детства, а, как блестяще показала И. Одоевцева, картины детства не потускнели в его душе до последних дней жизни. В этом двуединстве одна из трагических сторон личности Гумилева.

В стихотворении «Затворнице», позднее опубликованном под нейтральным названием «Девушке», поэт тщетно обращался все к той же Маше, с упреком называя ее героиней «романов Тургенева».

Мне не нравится томность Ваших скрепченных рук, И спокойная скромность, И стыдливый испуг. Он и любил, и вместе с тем негодовал, чувствуя ее сдержанность и, как ему казалось, чрезмерно рассудочный подход к жизни. Он пытался убедить ее в ошибочности ее взглядов, в том, что в ней слишком «много безбурно-осеннего от алли, где кружат листья». И неожиданно с сожалением предрекал:

Ведь для Вашей торжественной осени Есть один только выход — зима. И Вам чужд тот безумный охотник. Что, взойдя на нагую скалу, В пьяном счастье, в тоске безотчетной Прямо в солнце пускает стрелу.

Наиболее откровенным кажется стихотворение «Сомнение». Как ни странно для Гумилева, но в нем звучит почти гамановский надрыв; по колориту оно родственно северным сказкам этого автора — «Пану» и еще более «Мистериям».

Вот я один в вечерний тихий час И буду думать лишь о Вас, о Вас. Возьмусь за книгу, но прочту «она» И вновь душа пьана, обожжена. И, крадучись, я подойду к окну, На дымный сад взгляну, и на луну. Вон там, у клумб, Вы мне скажали «да»...

О, это «да» со мною навсегда. И, задрожав, я кину в небо звз, Пугая лезь ночных часов и сов: — Все ложь: и Бог, и люди и Змея. Есть только двое — Вы, моя, и я!

И вдруг сознание бросит мне в ответ. Что Вас, любимой, не было и нет; Что Ваше «да», Ваш трепет, у сосны Ваш поцелуй — лишь бред весны и сны.

Свободных... гонят и досель. Тогда поможет нам едва ли И звонкая моя свирель. 26-VI (8-VII)-1911 г.

И вот однажды Гумилев, возможно, не выдержав и, как написал когда-то Месняев, «осмелился вызволанно и страстно заговорить с Машей о своей любви к ней, о своей готовности пожертвовать для нее всем...».

Но что могла ответить на это она? — Нет, нет, нет! Не нужно мечтаний, не надо говорить о несбыточном... Я больна и недолговечна. У меня нет права любить, связывать чужую жизнь со своей».

Конечно, никто, кроме Николая Степановича, не мог слышать этих слов. Но возможность подобной сцены очень реальна, и автору кажется, что попытка ее воскресить правомерна. И, вероятно, только тогда Гумилев по-настоящему понял, что все его мечты и надежды, как и много раз раньше, вновь рассыпаются в прах. Опустошенный и растерянный, он замкнулся и стал ждать отъезда семьи Кузьминых-Караваевых в город. Здоровье Маши к этому времени резко ухудшилось.

Наконец этот печальный, возможно, даже самый печальный в жизни поэта день наступил. Он хорошо описан Месняевым, хотя, разумеется, все его слова являются не более чем романтическим вымыслом.

«Собираются в зале, чтобы присесть на кончики стульев, перекреститься, расцеловаться, пролезеться. На крутой лестнице, ведущей в мезонин, торопясь и волнуясь, без свидетелей, Гумилев спешит попрощаться с Машей. «Смертельно буду грустить, никогда не забуду! Не думал, не знал, что можно так любить! Прощайте, Маша!» Она страшно бледна; слезы туманят глаза. — «Не надо, не надо! Забуду!» Безстрастный поцелуй в губы. На повороте в деревню, в облачке пыли, скрылось то, что могло бы быть самым любимым, самым дорогим. Стихи, слова, маски, амулеты, привезенные из Африки, все теряет свою ценность, все становится ложным, пустым, ненужным».

Все последующие дни Гумилев ждал писем от Маши. Возможно, что он их и получал, хотя никаких сведений на этот счет в распоряжении автора нет. Мучаясь ожиданием и все еще на что-то надеясь, поэт всеми силами старался отвлечь себя от навязчивых мрачных мыслей. Он продолжал работать по укреплению вновь созданного литературного объединения и вскоре организовал очередное заседание Цеха поэтов, которое состоялось в его доме в Царском.

Николаю Степановичу было, конечно, известно, что в эти дни Маша находилась на лечении в легочном санатории в Финляндии. Но неожиданно он узнал, что состояние ее здоровья еще более ухудшилось и что ее собираются повезти на юг. Уже на следующий день после заседания Цеха, как сообщил П. Лукницкий, Брюсов все дела, он срочно выехал в Финляндию.